

ДНЕВНИК 1901-1903

<1901>

21 апреля 1901 г. Париж.

Неужели с этого я начну свой дневник? Положим, если уже начинать с чего-нибудь свой дневник в Париже, то именно с этого. Подготовлялось это долго. Задолго до Парижа.

Даже сначала и мысль такая была: «Ну, вот в Париже». А потом, уже в Париже: «Вот когда Пешковский уедет». И вот несколько минут назад это совершилось. Совершилось совсем просто, так просто, как всегда бывают просты великие события в жизни, а это во всяком случае принадлежит к важным событиям моей жизни. И теперь, когда это уже совершившийся факт, я вовсе не чувствую ни сожаления, ни угрызений совести, ни отвращения, ни обаяния своего собственного падения, а скорей какое<-то> радостное освобождение от чего-то давившего столько долгих месяцев. Я быстро пробежал из «той комнаты» по бульварам к себе домой, даже не оглядываясь на те стены, которые мне казались такими соблазнительными. Мне только хотелось скорей сосредоточиться, и теперь голова как-то сразу сделалась необыкновенно чиста и остались только холодный анализ происшедшего и на платье легкий запах ее тела.

Почему это произошло сегодня? Утром я был в Салоне. Потом обедал с Кругликовой и Давиденко, а после обеда пошел с ними в академию. Там позировала натурщица. Я в первый раз видел голое женское тело, т. е. то, чего я страстно и невольно жаждал в течение стольких ночей, и оно меня не только не ошеломило, не потрясло, но напротив, я смотрел на него как на нечто в высшей степени обычное. И действительно, оно было так просто среди рисующих художников, что не возбуждало никакой похоти. Я вышел спокойный, но на улице меня начал преследовать снова тот кошмар, что ли?

(только это, пожалуй, слишком сильно), который меня преследует в Париже всё время. Мне страстно хотелось «этого». Я зашел к Бинштоку. Он оказался дома, к удивлению. Я увидел высокого черного человека еврейского типа. Разговор о корреспонденциях вызвал некоторые сомнения и раздумия. Я вышел и пошел по Сен-Жермену. Мысль снова заработала в том направлении. Минуя женщин, я оглядывался и думал: эта... эта... Одна, просто одетая и нераскрашенная, небольшого роста, оглянулась на меня. Я ее обогнал и остановился у памятника памяти Дантона. Она, проходя, задела меня плечом. Потом, пройдя, оглянулась и призывно посмотрела на меня. Я почувствовал, что внутри всё затрепетало и в глазах помутнело. И я пошел по той же улице. Мне будет ужасно стыдно, если кто-нибудь прочтет это, но я хочу все подробности зарегистрировать себе на память. Она свернула в сторону, в маленькую улочку и потом сразу подошла ко мне: «Vous promenez seul, monsieur»* — и еще что-то. Я сказал, что я плохо понимаю по-французски. Она сказала, что спешит домой. Я вспомнил, что в этих случаях просят позволения проводить, и, хотя мне сразу сделалось ужасно стыдно, я пробормотал эту фразу. «Я живу вот здесь напротив», — сказала она. И мы стали подниматься по лестнице маленького отеля. Она остановила меня на минутку, чтобы взять ключ, затем мы вошли в комнату. Там был полусвет от фонарей, глядевших с улицы сквозь открытое окно.

«Ах, у меня тут маленькая собачка. Она pauvre petite chien<ne>»**, — говорила она, зажигая лампу и занавешивая окно. Мне показалось нужным нарушить молчание, погладить собачку и сказать: «C'elle jolie chien<ne> avez-vous»***. Собачка была маленький щенок и дрожала от холода.

«Embrasse moi, polisson»****, — сказала она, подходя и подставляя губы. Лицо у ней было бледное, маленькое и, кажется, хорошенькое. Я вспомнил, что так делают, и поцеловал ее. Но в этот момент у меня уже не было ни страсти и ни дрожи, а только одно любопытство.

* Вы гуляете один, сударь (фр.).

** Бедная маленькая собачка (фр.).

*** У Вас прекрасная собачка (фр.).

**** Поцелуй меня, шалун (фр.).

«Что вы хотите, чтобы я показала вам прежде?» Так <как> я не знал никакого более подходящего французского слова, то ответил: «Tous»*.

Она начала раздеваться, но я смотрел на это равнодушно, только с любопытством.

«Ну, теперь мы вымоемся, как это делают в аристократических домах», — сказала она, приготавливая таз с водой и ставя его на низкий стол.

И всё время потом оставалось только любопытство, а когда это кончилось, какое-то недоумение, зачем это мы здесь вдвоем в комнате. То, что я думал и говорил о социальном преступлении, о разврате, когда при этом не иметь в виду зарождение ребенка, — всё было в голове, но казалось так, как будто это всё не к этому относится.

Юность — только агония
Умиряющего детства.

Жизнь — бесконечное познание...
Возьми свой посох и иди! —
...И я иду... и впереди
Пустыня... ночь... и звезд мерцание.

[В далекий путь я взял с собой
Из мира, брошенного мной,
Лишь грезы детства...]

Два столетние каштана,
Обожженные грозюю.
На заре своей тропюю
Я иду... В волнах тумана
Два столетние каштана,
Опаленные грозюю. <...>

* Всё (фр.).

Слава великим гробам!
 Тучи собираются снова...
 Но недоступна рабам
 Тайна свободного слова...
 Раб обнажил уже меч...
 Рушится старое зданье,
 Куйте ж свободную речь
 В огненном горне познания.

Совесть и огонь. Хорошо, когда она светит ровным светом и освещает дорогу впереди.

Если ж се искра падает на сухие и горючие горы сделанного и прожитого, она может выжечь всю душу человека (Гл. Успенск<ий>). «Семь раз в день греши, только не кайся».

<1902>

18 июня. Ночь. Мâсон.

Светает. День суматохи.

Ајассіо. 3 июля.

Всегда тишина. Чуть шевелится что-то человеческое. Вся гора точно старая зацветшая медь. Я люблю эти белесоватые тона светлее неба. И море смеется сквозь ветви. Солнце целует крепко и горячо, а в тени ветер.

Море ласковое, как маленькая девочка. Ласковая краска и ласковый ветер. Переливаются густые и горячие струйки ароматов. Сухие пахучие травы, поседевшие от свету. Даже камни пахнут. Старые камни, разрисованные сухим мохом. Точно остатки византийской иконописи. Желтые, красные, черные круги... Иду выше.

Там сосны. Морские южные сосны с седыми лучами вместо игл. В воздухе тяжело и жарко от их запаха. И сухие, горячие оранжевые кустарники около дороги. И вдруг внизу сразу заширшет море, и всё утихнет. Заиграют красные крыши домов.

По горам тянется длинное облако, и они с неудовольствием вытягивают свои верхушки, чтобы взглянуть на залив.

После обеда идем по берегу за солнцем. И солнце течет под шляпу прямо в глаза жидкими струями золота. Я шуюсь, делаю гримасы и чихаю.

Хочется проглянуть сквозь золотой полог, но гор не видно за ним.

Кактус цветет. Цветы красные и желтые. Безобразные как кораллы. И запах едкий, уродливый, солнечный.

И вот отлогий песчаный берег.

Горы из бледного золота и фиалок. Берег розовый и голубой. И малиновые травы. Волны синие в изломе и потом как тело, и в них тоже золото.

И когда солнце нырнуло — всё точно покрыто вуалью. И пепельно-голубой вечер — как тихая печаль.

И я иду купаться в матовых волнах. А внизу всё прозрачно, и камни светятся из-под воды.

Я встряхиваю мокрые волосы, так что они мне падают на глаза, надуваю щеки и чувствую, что я тритон.

И потом я иду по золотисто-розовой дороге в пепельное пространство.

И в воздухе еще тянутся теплые струйки ароматов. Точно пахнет солнечными лучами.

И потом, когда уже ночь, я всё еще натываюсь на эти нити горячего запаха.

Ночь.

Огоньки, как золото в синем. И залив дрожит от радости.

Оливы творят вечернюю молитву.

Кипарисы вздыхают над могилами.

Лай собак и шум города звучит сквозь тишину, как далекая музыка. И иногда вдох волны покрывает собою всё.

В кабачке у моря черные фигуры на красном.

Песок под ногами и в башмаках. Камни.

По темной лестнице мы поднимаемся ощупью, и вот я опять на чердаке со своими книгами, бумагой и чернилом.

5 июля. Аяччио.

Я чувствую себя безусловно счастливым человеком. Но я до сих пор не жил жизнью чувства.

Я был наблюдателем. Жизнь была музеем или сценой. Я чувствую, что наступает пора выступить на сцену. Верно, я и при этом останусь наблюдателем. Мне надо рассмотреть личные чувства актера.

Двойственность для меня не страдание, а основа счастья.

Всё время я жил рассудочной частью своего существа. Той, которая создана веяниями времени, общества, воспитания, книг. Это очень просто.

Тело — великая и таинственная основа всего — молчал. И только в этом году я начал узнавать, что оно существует. И я проникся к нему уважением. Старое представление о душе и теле соответствует этим двум «я», живущим во мне. Люди всегда подгоняли понятия к словам.

Рассудочная часть, соответствующая понятию души и разума, — очень банальна. Она известна вдоль и поперек и служит для домашнего употребления. Строй жизни так однообразен, что у нас на каждый случай готов уже вывод. Мышление свершается инстинктивно. Тело таинственно и неизвестно. Это для меня великий «ОН», и я не знаю никогда, как Он будет действовать.

Это связи с землей. Из нее все силы.

Его можно изучить только на опыте, ставя в различные положения, новые и необычные. Он не имеет понятия о нравственных правилах, обычаях, ни об чем, пред чем чувствую себя рабом я. Он не имеет понятия и о логике. Потому что логика — это тоже одна из условностей, созданная для домашнего обихода рассудка.

Итак, с Ним я начал знакомиться только в этом году, и я хочу припомнить всё, как было, потому что теперь я хочу предоставить Ему полную волю. Я раньше Его стыдился, и теперь еще это не прошло. Но мне надо обратиться на несколько лет в Его раба, чтобы узнать Его характер.

В минуты власти (Его власть называется страстью) легче все<го> определить характер, а мне Его характер надо знать,

т. к. с Ним мне придется уживаться всю жизнь. Секрет счастья — это уметь хорошо ужитья с Ним.

Он всегда мечтал о женщине. С 10 лет. Я — нет. Я слишком верил в прописные правила. Это шокировало меня. Я стыдился Его.

Это было через месяц после моего приезда в Париж.

Вечер. На тротуарах пятна света и полосы тени. Из аптечного окна лучится красное сиянье. Каштаные листья около электрического фонаря кажутся бумажными. Воздух теплый и сухой. Запах людей влажный. Этот запах тела — безобразный, но раздражающий. В голове стучит кровь. Час пред этим Он видел голую натурщицу. Это было в первый раз в его жизни. Он никогда не видел тела. Он зашел в академию, чтобы поговорить со знакомым художником, но это было предлогом. Он хотел увидеть женщину. Когда Он входил, то у Него стучало в висках. Он поднял глаза, и женское тело (она стояла заложив руки за голову, освещенная двумя фонарями с рефлекторами), поразило Его своей обыденностью. Потом Ему снова хотелось посмотреть на нее, но Ему казалось, что это заметят, и Он взглянул, только выходя. И это было совсем просто, и Ему казалось, что Он это много раз видел. И страсть не говорила в Нем.

Потом Он зашел к одному незнакомому человеку, по делу. Ему было неприятно с ним говорить. И когда Он вышел, была ночь, и на улице много народу. Вдали это были темные фигуры неопределенных очертаний. Вблизи — светлые пятна лиц. Иногда запах женского тела.

У меня есть двадцать франков, думал Он. Это стоит 20 fr. Я, помню, видел это в «Igon-Igon». Я этого никогда не думал. Я считал преступным купить женщину, но Он никогда не считается с принятыми нравственными положениями. Он берет жизнь, как она есть.

И Он останавливается и смотрит на проходящую мимо маленькую фигурку в черной шляпке, и Ему хочется ее.

Женщина бросает взгляд на Него, и их глаза встречаются. Она сразу понимает Его взгляд, и в ее глазах вопрос. Что-то сразу собирается у меня в груди, сжимается... Я перестаю чувствовать ноги, вдруг становится мучительно стыдно,

и я быстро отворачиваюсь, прохожу несколько шагов и останавливаюсь около памятника Дантон<у>. Я чувствую, что она идет за мной, но я не решаюсь взглянуть. Под рукой я чувствую теплый шероховатый камень. И она проходит мимо меня и задевает меня, точно случайно, плечом. И опять что-то горячее стягивается у меня в груди. Я отрываю свою спину от памятника и иду за ней. Она на ходу оборачивается и улыбается мне. Затем останавливается на углу темного переул-ка, где нет людей. У меня кружится голова, и я приказываю своим ногам идти туда, как это бывает в опьянении. И вот я подошел и не знаю, как начать. Ни одной фразы у меня нет на языке.

Я готов убежать, но мне стыдно. Я стараюсь припомнить, что обыкновенно говорится в таких случаях, и говорю: «Вы мне позволите Вас проводить?»

И я чувствую, что говорю не то. Она что-то говорит, но я не понимаю. Потом я догадываюсь, что она живет тут же, потому что она показывает рукой на противоположный дом. Мы переходим через улицу, и мне стыдно, что меня могут увидеть.

Узкая лестница грязного отеля.

— Вы иностранец?

— Да, я русский.

— Погодите, я возьму ключ. — Она заходит за тускло освещенную дверь. Я остаюсь в темном коридоре, когда мимо меня проходят два человека, я стараюсь отодвинуться дальше в тьму.

«Идем».

Мы поднимаемся по лестнице, и она наклоняется, шаря замочной скважины. Я чувствую около себя юбку, дотрагиваюсь до нее робко пальцем и думаю:

«Неужели это и есть?..»

Она зажигает спичку, и мы входим. Комнатка крошечная, с большой постелью, как во всех отелях.

«У меня здесь собачка. Моя маленькая собачка», — говорит она и берет на руки крошечное дрожащее существо. Я делаю вид, что очень заинтересован собачкой, глажу ее и говорю:

«Какая хорошенькая собачка».

Она в это время запирает дверь и задергивает занавеску у окна. Она сняла шляпку и подходит ко мне.

– Ну, теперь поцелуй меня.

Это «ты» не кажется мне странным.

Я обнимаю ее за талию двумя руками и целую в губы. И чувствую что<-то> липкое – верно, губная помада.

Она худенькая и маленького роста. Ей лет двадцать.

У нее обыденное парижское лицо. Плоское, бледное, с синяками у глаз, но издали она кажется хорошенькой.

Мне совсем не хочется ее целовать, но я это делаю, потому что это принято.

И я думаю: «Неужели она сейчас разденется?»

И мне хочется, чтобы она разделась совсем. Любопытство меня охватывает.

И я делаю робкое движение, чтобы расстегнуть ей кофточку. Она говорит: «Погоди, я сама». И потом спрашивает деловым тоном:

«Ты хочешь, чтобы я разделась совсем?»

Я киваю головой. Она делает это как-то очень быстро и деловито. Она одним движением сбрасывает с себя все платье и остается только в черных чулках выше колен да с газовым бантом на голой шее. И меня опять поражает обыденность голого тела. Я гляжу на низ ее живота, и меня удивляет присутствие волос. Их я никогда не видел на картинах и статуях, но я вспоминаю натурщицу, а потом вспоминаю греческие вазы и залу античной порнографии в Неаполитанском музее,

Она подходит ко мне всем телом, я наклоняюсь и целую ее в груди.

«Кажется, это так делают», – думаю я.

Она говорит:

– Раздевайся.

И мне теперь не стыдно раздеваться, но я страшно боюсь сделать что-нибудь не так, как это обыкновенно делают.

Я боюсь, чтобы она не догадалась, что я это делаю в первый раз. Теперь «это» – моя невинность – кажется мне ужасно постыдной.

Я раздеваюсь позорно неуклюже и очень долго расшнуровываю ботинки.

«Зачем ты снял ботинки?» — говорит она. И <я> чувствую, что она догадывается, что я еще не имел дела с женщинами.

«Ох, какие у тебя ботинки», — говорит она и приподымаст мою стоптанную подбитую гвоздями горную ботинку.

И мне кажется, что я сделал какое-то ужасное неприличие.

И я снимаю рубашку и хочу откинуть одеяло.

«Как, ты хочешь лечь в постель?» И я готов провалиться от стыда. Теперь она уже наверно догадалась.

Потом, когда всё кончилось, мне всё становится отвратительно. И стыдно не того, что я не имею в этих случаях принятых манер, а стыдно этого тела, этой комнаты. Стыдно того, что я голый. Мне становится противна и она, и ее манеры, в которых чувствуется деловитость и специализация. Я начинаю быстро одеваться.

«Как, уже?» — спрашивает она меня с удивлением. Но теперь это меня не конфузит. Мне всё противно.

Когда я оделся, она говорит:

«А что ты мне подаришь?»

Я смущенно и неловко достаю свой кошелек и отыскиваю двадцатифранковую монету, которую кладу на стол.

«Ты очень мил», — говорит она.

Потом она говорит о том, что у ней есть ребенок, что ей сейчас надо ехать на другой конец города, просит дать ей на извозчика. И я кладу ей на стол еще пять франков. И мне так же неловко, как когда оставляешь деньги доктору.

Она оделась и выходит меня проводить с лампой в коридор.

«Ты ведь еще придешь, милый? Меня зовут Сюзанн. Пятый номер»...

Но я бегу, и мне кажется, что все прохожие знают. И опять мелькают пятна тени и света, силуэты людей, красное сияние в аптечном окне. И я дома.

И я сажусь за стол, но ничего не могу делать. И я чувствую какую-то легкость, то, что ушло что-то, что меня давило

много месяцев и заставляло проводить бессонные ночи и думать о женщине. Мне противно всё, что было, но я думаю: а все-таки это хорошо.

15 июля. Аяччио.

Вчера случайно с мыслью: «А ну-ка, что откроется?» — я развернул Ницше. И то, что я прочел, с первых же шагов поразило меня, как мой собственный портрет.

«Человек с объективным умом не более как зеркало... Всё, что остается в нем от своего “я”, кажется ему случайным, часто своевольным, а еще далее беспокойным. Он только тогда чувствует себя самим собой, когда анализирует, отражает посторонние образы и события.

Вспомнить о “самом себе” стоит ему напряжения, и нередко воспоминание *его бывает неверным*. (Поразительно!) Он легко смешивает себя с другими (источник всех моих недоразумений с людьми), ошибается в том, что ему нужно, и только в одном этом случае ум его непроницателен и он относится небрежно к делу. Может быть, его мучает нездоровье или странные, замеченные им отношения между женой и верным другом, и вот он принуждает себя размышлять о своем собственном мучении, но всё напрасно! Его мысль сейчас же удаляется от этого предмета и стремится к обобщению (ужасно верно), и завтра он точно так же не будет знать, как выйти из затруднения, как не знал вчера. Он отвык относиться серьезно к самому себе и потерял напрасно время, и вот он веселится не потому, что у него нету никакой нужды, но потому, что он не находит никаких ясных доказательств своей нужды. Он обыкновенно сам идет навстречу каждому случаю и жизненному опыту с веселым и простодушным гостеприимством, принимает всё, что касается его лично; его благосклонность неразборчива, его беззаботность относительно “да” и “нет” опасна, ибо как много таких случаев, где ему приходится страдать от этих своих добродетелей, и как человек он часто делается *Caput mortuum** своих добродетелей.

* Бренные останки (лат.).

Если захотите, чтобы он полюбил или возненавидел — я разумею здесь любовь и ненависть в том смысле, как понимают эти чувства женщина и животное, — то он делает то, что может, и дает столько, сколько может. Но не должно удивляться, если он даст немного, потому что именно в этом случае он оказывается не самим собой, а хрупким, сомнительного достоинства, ломким. Его любовь — любовь вынужденная, его ненависть искусственна и скорее напоминает собою *un tour de force**, она немножко тщеславна и преувеличена (и это всё верно!).

Он бывает самим собой только до тех пор, пока остается объективным: только держась своего бодрого обобщения, он бывает “натурой” и “натуральным”.

Его всё отражающая, как зеркало, и, так сказать, вечно приноравливающаяся душа уже не может давать утвердительных ответов, ни отрицать; он не дает никаких приказаний, но вместе с тем и ничего не разрушает.

“*Je ne méprise presque rien*”**, — говорит он вместе с Лейбницем: обратите внимание на это слово *presque* — и разберитесь его хорошенько!

Он не такой человек, который мог бы служить примером; он не идет впереди кого-нибудь, а также не следует за кем-нибудь; он обыкновенно стоит слишком далеко, как будто бы у него есть основательные причины на то, чтобы не приставать ни к партии “добра”, ни к партии “зла”.

Когда его смешивали, в течение столь долгого времени, с философом, с этим цезарским ликтором и полицейским культуры, то этим делали ему слишком много чести и проглядели в нем самое существенное: он — орудие, род невольника, хотя, конечно, невольник высшего сорта, но сам по себе он — ничто, *presque rien****! Человек с объективным умом это орудие (инструмент?) — дорогое, скоро портящееся и теряющее свой блеск орудие из желтой меди, художественно сделанное зеркало, которое нужно беречь и ценить; но у него нет

* Ловкая штука; силовой прием (фр.).

** Я почти ничего не презираю (фр.).

*** Почти ничто (фр.).

конечной цели, он не научит тому, как выйти откуда-нибудь или подняться наверх; он не такой человек, который бы служил дополнением к другим людям и который истолковывает то, что остается нам неизвестным в нашем существовании; он не заключение, но уже никак не начало, не порождение и не первая причина; в нем нет ничего твердого и сильного, стоящего крепко — нет свойств повелителя: он не более как сделанный из мягкой массы, дутой, с тонкими стенками, беспрестанно изменяющий форму сосуд. Его сначала нужно наполнить каким-нибудь содержанием или вместимым, чтобы затем уже по нему принять свою форму — объективно это человек без вместимого и содержимого, человек, лишенный своего “я”.

Поэтому он не имеет никакого значения для женщин и не пользуется никогда у них успехом».

Вот... Портрет настолько близок и схож, что я не отрываясь прочел три раза, и с каждым разом я всё больше убеждался в том, что это я. Многого здесь очень нелестно для меня, но справедливо.

Такие люди очень часто дают иллюзию сильной индивидуальности потому, что они не похожи на других. Это мне случалось замечать.

«Я — губка» — это то же, что «я — зеркало» и вполне совпадает с сосудом.

«Я — зритель. Мир — музей» — это тоже согласуется с Ницше, потому что его тип — это отражение мира. Да. Я принимаю эту характеристику со всеми ее жестокими правдами.

У меня нет непосредственного чувства «добра» и «зла». Я отношусь к ним с одинаковым интересом. Я не вижу ничего, что бы меня инстинктивно отталкивало в «зле». Единственное инстинктивное чувство, близкое к этим понятиям, которое живет во мне, — это чувство «оскорбленного права» — это уже следствие внешних воздействий русской действительности.

«Нет добра и зла» — для меня это не вывод, а откровенность.

25 июля. Неаполь.

Этот я написал третьего дня, сидя <на> площади Plebescito в кафе. Это отголосок разговора с А. В. Г<ольштей>н в вечер ее возвращения из Савойи.

На заре. Свежо и рано.
Там вдали передо мною
Два столетние каштана,
Обожженные грозою.
Уж кудрявою листвою
На одном покрылась рана...
А другой в порыве муки
Искалеченные руки
Поднял с вечною угрозой —
Побежденный, но могучий,
В край, откуда идут грозы,
Где в горах рождаются тучи.
И, чернея средь лазури,
Божьим громом опаленный,
Шлет свой вызов непреклонный
Новым грозам, новой буре.

Над чернеющими пнями
Свежесрубленного леса
Шепчут тонкие побеги
Зеленеющих берез.
А в лесу темно, как в храме,
Елей темная завеса,
Пахнет хвоей под ногами,
И, как гроздь среди леса,
Всюду пятна птичьих <гн>езд*.

И от карканья ворон
Гул стоит со всех сторон,
Как торжественный, спокойный
Колокольный мерный звон —
Гулкий, стройный
И унылый...

* В оригинале описки — «звезд». (Ред.)

А над срубленными пнями,
Как над братскою могилой,
Тихо двигая ветвями,
Им березы шелестят:
«Мир уставшим...
Мир усопшим».
Вместе с дальним гулом сосен
Наклоняясь, говорят...

И им вторит издалёка,
Нарушая цепь их дум,
Рокот вольного потока —
Вечной жизни бодрый шум.

Думой новою объятый,
Я стою... И мне слышны
Словно дальние раскаты
Человеческой волны...

9 августа. Неаполь.

Буду продолжать. Мне бы хотелось поскорее перейти к тому, что было этой весной и что еще теперь не кончилось. Но надо досказать историю моего первого грехопадения. Я встретился с той женщиной еще раз. Это было после возвращения из Испании. Меня опять охватило то состояние, при котором я ни о чем не мог думать, кроме женщины. Я проходил мимо Бюлье, и мне страшно захотелось войти туда и взять себе женщину. Но что-то удерживало меня. Это не были нравственные правила, ни страх болезни — я об этом не думал. Это была застенчивость непривычки. Я не раз бывал в Бюлье, чтобы смотреть на лица танцующих и иногда рисовать. Но когда я подошел к дверям, я вдруг испугался и вспомнил, что мне нужно в Cabinet на другую сторону площади, и ушел.

Потом я вернулся и вошел в залу. У меня не было ясного намерения, но мне казалось, что все знают, зачем я сюда пришел. Когда же разные женщины старались поймать мой взгляд или предлагали угостить их, я испуганно уходил в сторону, делая вид, что я не замечаю их.

И тут я столкнулся лицом к лицу с Сюзанн. Я хочу от-
вернуться, но она узнаёт меня и здоровается.

«Ты ведь меня угостишь?»

И мы идем к столикам. Мы садимся. У ней плоское па-
рижское лицо и синяки около глаз. Мне она совсем не нра-
вится. Гарсон подает два бока<ла>. Она подвигается очень
близко ко мне, касается меня коленями и закрывает мои
ноги своей юбкой. Я чувствую, что во мне просыпается жи-
вотное.

«Ведь мы пойдем ко мне? Правда?» — спрашивает она.

Я чувствую такое стеснение, что мое тело делается дере-
вянным. Сквозь сдавленное горло я произношу что-то — вер-
но «да».

«Погоди, я только протанцую еще этот вальс», — и она
уходит. Я вижу, как она говорит с другой женщиной в велоси-
педных шароварах и, кивая в мою сторону, произносит:

«Это мой... с Rue l'École de Médecine»...

И мне хочется воспользоваться моментом и убежать, но
я чувствую на ногах прикосновение ее колен и остаюсь.

Она возвращается. Я достаю портмоне, чтобы платить.

«Сколько?»

— Шестьдесят са... — говорит гарсон. Но она выразитель-
но в упор смотрит на него.

«Два франка-с», — поправляется моментально он. Я пла-
чу. И вот мы идем вдоль темной и сырой аллеи Обсерватуар.
Она через два шага подпрыгивает и напевает. Я хочу принять
развязный и веселый вид. Но не могу. Меня гложет мысль:
«А вдруг меня увидят мои знакомые?» Мне хочется предста-
вить из себя кутящего парижского студента, но я принимаю
только еще более мрачный и серьезный вид.

Стараюсь взглянуть со стороны и нахожу, что у меня
страшно глупый вид.

Дорога до ее дома — это пытка. Опять мы входим по тем-
ной лестнице. Она заходит в контору и долго топчется. Затем
мы идем в ее комнату, только не старую, а другую — значи-
тельно выше, меньше и грязнее.

«Ты мне дашь опять 20 франков?» — спрашивает она неж-
ным голосом. У меня всего 20 fr. в кармане, и это все мои

деньги. Кроме того, я слышал, что двадцать франков – это слишком большая цена. И я говорю: «Нет, я сегодня не могу тебе дать больше 10 франков».

Она сразу делает сердитое лицо и деловитым голосом говорит, что за 10 фр<анков> она не может. Близость ее тела уже ослепляет и горячит меня. Идет отвратительный торг, и я все-таки остаюсь. Она берет 15 фр<анков> и говорит, что ей надо сперва спуститься, чтобы заплатить за комнату, а то хозяин ее не хочет держать. Эта подробность на меня не производит впечатления. Я жду ее довольно долго. Мне вспоминаются рассказы об ловушках и западнях. Для ободрения я вынимаю перочинный ножик и смотрю на него. Слышны шаги. Я торопливо прячу его в карман и делаю вид, что смотрю в зеркало.

«Ты боялся?» – спрашивает она и начинает раздеваться. «Polisson...» – говорит она. «Tu est un grand baiseur»*.

Во всем этом что-то казенное. Я испытываю ощущение, как будто пью какое-то лекарство, закрыв нос, чтобы не слышать скверного запаха. Я ухожу еще с большим отвращением, чем в первый раз, и повторяю про себя:

«Больше никогда... Больше никогда...»

Даже физическое облегчение не может заглушить того отвращения, которое расплзается по душе.

Paris. 9 сентября.

Теперь мне хочется припомнить по порядку всё, что было прошлой весной перед моим отъездом.

Всё завязалось во время той знаменательной прогулки в Монморанси, которой мы с Косоротовым придавали потом в Неаполе такое почти мистическое значение.

Но это были его события.

Мои начались раньше. Это было 16 мая – день, когда мне исполнилось 25 лет.

Я зашел к Ауэр проститься. Они на другой день съехали к отцу в Дюссельдорф. Я в этот день купил себе краски. Первые масляные краски. Поэтому я опоздал к завтраку.

* Шалун... Ты такой холок (фр.).

«Простите меня, пожалуйста, я опоздал потому, что покупал краски».

Пока мы завтракали, как всегда, и в той же комнате, как всегда, кто-то сказал:

«Когда мы увидимся? Мне бы не хотелось потерять Вас из виду. Вы ведь куда-нибудь исчезнете из Парижа... Нет, Вы должны писать нам».

Теперь мне не кажется, что это сказала М-ме Ауэр.

Я обещал писать.

Когда мы встали из-за стола, я сказал: «Вам ведь наверно нужно укладываться, так я прощусь с Вами».

«Нет, погодите... Это Тиля укладывает», — это уже сказала она — Муха. «Покажите-ка мне Ваши краски».

Я принес коробку и краски, которые были еще завернуты в бумагу. Мы их разворачивали вместе.

«Ну, нарисуйте мой портрет — я сегодня в своем декадентском капоте».

Она действительно была в своем капоте.

«Но ведь я еще никогда не держал в руках масляных красок».

И я все-таки стал рисовать.

И когда я стал намечать ее оригинальную линию щеки, мне вспомнилось, что ее сестра говорила, что она очень недовольна своим лицом. Вспомнилось тоже, как мама, когда увидела ее, сказала:

«У младшей Ауэр очень оригинальное лицо».

Поэтому я сказал:

«У Вас очень оригинальная линия щеки. Эдмонд Гонкур говорит в своем дневнике, что реже всего встречается красивая щека».

Но я сейчас же бросил рисовать и сказал: «Нет, я не буду рисовать. У меня ничего не выйдет. Давайте лучше говорить. В последний день...»

Теперь мне кажется, что, может, это и она сказала.

Не помню, как начался разговор. Но я вдруг заметил, что это она сама нарочно сделала, что мы остались вдвоем. И сердце вдруг сжалось.

Почему?

Раньше я на нее никогда так не смотрел. Как на всех людей, я смотрел на ее лицо. Но я вдруг заметил, что она очень красиво сложена, и мысленно представил себе очертания ее груди. И мне вдруг стало так стыдно, что я закусил больно губу и почувствовал, что моя мысль что-то оскорбила.

Она сказала: «Дайте-ка мне посмотреть Ваши краски».

И она держала коробку в руке и водила кистью по картону, на котором я начал намечать ее лицо.

Она написала на нем кистью «Муха» и положила коробку на диван.

Я совсем не помню, о чем мы говорили, вышло так, что она начала рассказывать о своем детстве.

«Меня до 16 лет никуда не выпускали без гувернантки.

Гувернантка была при мне неотлучно. Ведь толь<ко> год назад в Москве я стала самостоятельна. И главное, гувернантка меня страшно любила и ревновала к другим. Это было очень тяжело. Взрослые никогда не понимаю<т> и смеются над детьми, когда им говоришь: “Вы меня не понимаете”. Я любила оставаться одна дома, когда все уходили. Папа вечером почти никогда не бывал. Мама тогда часто бывала в театре. Сестры выезжали. И когда бывала одна, то я всегда старалась делать именно то, что мне запрещали. У меня была подруга Саша, дочь нашей горничной. У меня совсем друг не было. Сестры все были старше — все уже были барышнями.

Так она меня одела в большую шубу, надела платок на голову — ведь этого никто из наших до сих пор не знает, так что если кто-нибудь войдет, то я не смогу рассказывать. И вот, я спустилась по лестнице мимо швейцара и в первый раз одна вышла на улицу. У нас было условлено, что дойду до угла и потом вернусь сейчас же назад, а Саша мне отворит дверь. И это было так страшно. Вся улица казалась не та. Ветер был. Это зимой было. Я бегом побежала, когда дошла до угла. Там на углу была булочная. И когда я подходила к дому, я вижу, в окнах тени ходят — меня ищут. У нас масса прислуги было. И вот меня хватились. Я подошла к двери и слушаю».

В это время в комнату зачем-то вошла ее сестра.

«...Ну, вот... Ведь я не могу говорить», — шепотом сказала она. И потом, когда сестра вышла:

«Так когда они меня увидели, на меня кухарка наша рассердилась... Но я набралась нахальства, приняла барский тон: “Как вы сместе?! Это я только хотела вас напугать”. Но тут же меня обличили, спросили швейцара, и мне пришлось позорно просить прощения, чтобы никому об этом не говорили».

«Смотрите же, пишите мне, — говорила она, прощаясь. — Это все-таки будет кусочек Парижа».

«Когда отходит поезд?»

«Завтра в 7 час<ов> утра. Но вы нас не приходите провожать».

Я сказал, что не приду, но в душе решил пойти. И когда я шел от них, то в груди трепетало, как пойманная ласточка, и земля вихрем летела из-под ног.

«Значит, я влюблен?» — с полуизумлением думал я. Это было в первый раз в жизни.

И мне вдруг вспомнилось всё: и то, как я пришел к ним в первый раз по письму Мар<ии> Бернардовны, и как потом я у них обедал по понедельникам, и Брандес, и потом уроки французского языка... И мне вдруг пришло в голову, что ведь это именно она придумала эти уроки.

И тут мне вспомнилось, какая она ходила радостная, как именинница, когда познакомилась с Анатолом Франсом. И как над ней подтрунивали за это и говорили, что ее ревнует пожилая дама — любовница Франса, которая ее называла *petit cocher**, потому что она была тогда на вечере в кучерском русском костюме.

И кто<-то> сказал, что Ан<атоль> Франс ей сделает предложение. И тогда ее сестра сказала: «Вот выйдешь за Анатоля замуж, будешь m-me Тибо, а Максимилиана Александровича — в качестве друга дома».

Меня это тогда очень удивило и сконфузило. Теперь я понял, что у них были уже раньше какие-то разговоры обо мне.

* Маленький кучер (фр.).

Но ярче всего это последние дни. Как мы съездили в Версаль вчетвером: ее сестра, Габрилович, она и я. И как мы почему-то убежали от них. И мне опять вспомнилось, что ведь это именно она предложила убежать. Потом Эйфелева башня, когда Т<иля> мне очень подробно передавала содержание одного рассказа Марни, где играли очень трогательную роль старые калоши. А Муха всё отставала, потому что у нее одна калоша была велика и всё сваливалась с ноги. И она нарочно детским тоном говорила: «А у Муси калёся свалилась». И мне этот припев казался ужасно подходящим к рассказу.

Всё это было как раз в последние дни.

И меня охватывало какое<-то> счастливое сияние. Неужели это любовь? В тот день я обедал вечером вместе с Досекиным, и, когда вдруг среди разговора вспоминал то, что было утром, меня охватывало такое безумное счастье, что я не мог сидеть на стуле. И я решил не идти их провожать, чтобы сохранить этот последний разговор не запятнанным никаким другим впечатлением.

И на другой же день я стал писать письмо в Дюссельдорф. Я не знал, как ее назвать. Мне не хотелось называть ее Марией Львовной, а хотелось назвать просто Мухой. Поэтому я нарисовал в заголовке письма муху и поставил восклицательный знак. Но это мне показалось слишком интимно — поэтому я после еще прибавил «Львовна».

В письме я говорил о том, как приятно перебирать старые письма и что мне казалось, что она меня вчера подвела к своему письменному столу и вынула из ящика пачку старых пожелтевших писем.

И когда я отправил это письмо, то получил от нее письмо.

Она писала:

«19 мая 1902.

Дюссельдорф

Schumann Strasse — 2.

Pension Greeven.

Милый друг Волошин, увы! — мои первые слова будут печальны: итак, мы расстались, расстались на очень, очень долгое время, т<ак> к<ак> на будущий год в наш любимый Париж не попадем. В

два дня наши планы изменились, едем мы через два дня не в Крейцнах, не на море, а в Россию — в нашу далекую Матушку Русь, в деревню к сестре, — одним словом, туда, куда мы менее всего стремились; причиною тому — дела семейные, серьезные, недоступные. Едва ли выберемся мы оттуда зимою. Сестра и я горюем страшно и потеряли всякие надежды. — Завидую я вам всем, большим птицам, вашим свободным полетам. Хотела бы я полететь, да крылья малы! — Что же поделаешь, стерпится и, быть может, слюбится Москва. Я вперед теперь не загадываю, отдаюсь течению и жду новых ударов. — Простите, что пишу так плохо и на такой бумаге, но очень поздно — устала, нет времени искать другой, я Вам только хотела еще раз доказать мою искреннюю дружбу к Вам, в котором живет наша парижская жизнь. — Привет от нас всем и всему. До нескорого свидания

Муха Ауэр».

«22-го мая 1902. Дюссельдорф.

Какой Вы милый, — и как грустно и как больно стало мне после Вашего письма, так хорошо, так тихо больно; чуть ли не до слез, но рифмы не звучат, мне только кажется, что где-то далеко в моем сердце звенит на одной ноте слабая струна, на одной ноте, высокой, болезненной, томительной. — Спасибо Вам, я тоже люблю мысленно подать друг другу руку и начать и продолжать прерванный разговор. Да, Вы правы, я бессознательно привела вас к своему письменному столу и раскрыла перед Вами запертые ящики, не часто я их отпираю, потому и спрятанные листки пожелтели, и веет от них чем-то очень далеким, и мне кажется, что я столько с тех пор прожила, а всего два года как я начала их сознавать и как они стали для меня прошлым. — Ужасно грустно, право, можно искренно воскликнуть: “Муся бедная!” Здесь холодно, сыро, скучно. Немцы с их безвкусной выставкой меня раздражают. Живут они, как эти желтые грибы, которые растут на старых деревьях; колоти их палками — они и то не встряхнутся; весь день проходит с едой, во время еды — говорят о еде, после еды — о том, что съели! — Нет, никогда не выучиться мне летать по-вашему, если мне лететь, то мне столько нужно до этого работать; наши дороги так разны; Вы вольная птица, выпущенная в степь, широко она вокруг нас расстилается, ни оврагов, ни гор; ваша жизнь одна цельная, а цель Ваша — тучи, которые летают над

Вами. — Моя дорога — лощина: иду я по ней хорошо, точно, гладко... и вдруг — под ногами раскрывается пропасть, и безглазая глядящая тургеневская старуха толкает меня в нее, и я падаю и вижу — внизу передо мной вьется другая тропинка, и я опять иду по ней; а за мной стена оврага, высокая, недоступная, и хочется мне взглянуть через нее на пройденный путь, хочется опять по нему пойти, — хочется, да не может. — Я должна много работать, чтобы достичь чего-нибудь — тогда только возможен широкий полет. — Вы не могли испытать этого чувства, и если испытали, то по собственному желанию, но Вы не знаете, что за боль щемит все мои фибры, когда я думаю, что Париж и наша жизнь <на> Rue Goethe безвозвратно оторваны от меня, и больней оттого, что не сама я от этого отрываюсь, но что действует против моей беспомощности какая-то темная сила; нельзя не поддаться ей — вот и летишь вниз на новую дорогу и идешь по ней, вспоминая, идешь под звуки дальних русских песен.

Во донских степях, во широких!!! И как бы твержу бесконечно тихие фразы, те же любимые строки стихотворений и, главным образом, мой лейтмотив: “И тебе не грустно, и тебе не больно?” — И мне так грустно, так больно. — Я не думала, что существуют такие люди, как Вы! — Будучи девочкой, я рисовала себе в моих бесконечных фантазиях образ человека, который будет таким же фантазером, как и я, который наконец ответит мне так, как я чувствовала; и сколько мне приходилось видеть людей, и ни один человек не говорил со мной на одном языке, тогда я пришла к убеждению, что моя фантазия — глупость, что мои чувства не чувства, т<ак> к<ак> их столько раз коверкали по-своему, и отдалась им я без восторга, как в больном бреду; мне кажется теперь, что у нас с Вами одно воздушное наречие...

Едем отсюда завтра без остановки прямо на Москву, отсюда после двух дней отдыха отправимся в деревню. — Надеюсь там от Вас найти послание с новым стихотворением, с новой искрой Парижа. — Какой Вы счастливый и как я вам всем опять-таки завидую. Так Вы и не нарисовали наших капотов! — Ну, простите за мое безграмотное маранье, кажется, я никогда так много по-русски не писала.

Старое прожито, вынута... выпито...

Та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та.

г. Калуга, имение Колышево (Kolishovo!).

М. Л. Ауэр».

Я был страшно счастлив, когда получил это письмо. Но еще больше я был счастлив тому, что я влюблен. Иногда ночью я просыпался от счастья.

По несколько раз в день я садился писать письмо ей, так что оно превращалось в дневник. Я ей ничего не писал о любви, но мне казалось, что все слова говорят об этом. И я повторял стихи Шелли:

Слишком часто заветное слово людьми повторялось,
Я его не хочу повторять...

Как-то вечером я написал стихи:

Спустилась ночь... Погасли краски...
Сияет мысль...

и т. д.

Я отправлял одно письмо и начинал другое. И всё ждал письма. И оно наконец пришло.

«Колышево. 30-го мая 1902 г.

Бяка и холосий! “Холосий” оттого, что написали мне такие длинные милые письма; бяка оттого, что сравнили меня с курицей; но об этом потом. Если б Вы знали, где я! — Пишу я в уютной розовой комнате с мебелью из карельской березы, старинной, глубокой; большое окно открыто на реку, луга и темный сосновый лес, чернеющий на горизонте. — Река мелкая, голубая, прозрачная, с золотыми песчаными берегами; в окно смотрят два старые ствола лип, и ветки их спустились до земли; тихо, тихо; соловей с утра до ночи и с ночи до утра свищет в акациях. Я слушаю и не верю, не верю этой тишине и спокойствию; очень уж хорошо, тепло и зелено теперь; после ужасного путешествия, пыльной трескучей Москвы мы живем в каком-то забытии. Странное меня охватило чувство; точно нарочно в Колышеве гостят те же родные моей сестры, которые были здесь в прошлом году, когда я ехала за границу; и, сидя теперь между ними, мне кажется, что никогда я не уезжала, но что я заснула и видела длинный хороший сон... проснулась и вижу те же лица, ту же погоду, те же привычки, но наяву я переносюсь мыслью к этому дивному сну, я люблю его и помню, но он мне кажется таким далеким, далеким. — Если б Вы знали, как мне трудно писать по-русски! Столько хочется сказать, а повернуть слов я не умею и завидую Вашему красивому стилю. — Неужели Вы думаете, что я не ратую за будущую зиму? Одна я стою за Париж. Наталья

Львовна тоже против него, говоря, что трудно будет там жить иначе, чем в этом году, и стоит за Женеву, где можно устроиться скромно и скромно; я, конечно, только и мечтаю о Atelier* и двух комнатках на левом берегу, мечтаю найти там прежнюю Муху Львовну, которую Вы знаете, а не ту, которая Вам теперь пишет издалека. Мне кажется, что я не вся сюда приехала, а что главные мои вибрирующие струнки оборвались и звенят в парижском воздухе, что во мне пока только эхо их песен, которое, наверно, скоро умолкнет совсем. Так не браните меня больше; я люблю, желаю, вспоминаю всегда до боли. Но что же делать, бывают же люди, которым никогда ничего не удастся; эти люди желают и мечтают сильнее и больней многих других; у Вас сговор с воздухом, с камнями, с горами, с тучами, они Вас слушают и с Вами говорят; я же чувствую себя бессильной перед ними, я их боюсь и люблю, и чем они сильнее и красивей, тем я чувствую себя ничтожней и грустней. Я ничего не могу, я массу желаю, я много чувствую, много думаю, но всё это остается во мне и скрытым для других, я не *одна*, я — *две*; многие знают только меня одну, не подозревая другого существа, которое живет более интенсивно и глубоко. — Но довольно про меня; я бы хотела знать, что *Вы* обо мне думаете, столько разных мнений на мой счет; Габрилович меня сравнил с Ольгой, а сестру с Татьяной; верно ли это? —

Должна кончать это весьма неинтересное письмо, т^ак торопят, чтобы отдать его посланному на станцию. — Простите меня, мой друг, и обрадуйте скорым ответом.

Всё как прежде, по высотам
Звезды мигают
И в кустах по старым нотам
Соловьи концерт играют».

15 октября 1902.

Я зашел с Поляковым к Бальмонту, чтобы пойти на Монмартр, как было условлено.

Стучим. Молчание. Но щель освещена. Потом шаги. Отворяет m-lle Христофсен. Как вчера, накрытый стол и остатки обеда. Он сидит в углу на диване и смотрит непонимающими воспаленными глазами.

«Вы еще не кончили обедать?.. Простите...»

* Мастерской (фр.).

Он тяжело поднимается и нетвердым голосом говорит:

«Нет, мы еще и не начинали...»

«Так простите... мы зайдем после...»

Он с внезапным порывом хватается за руки и с матовым блеском в мутных глазах говорит: «Да, ведь вы уйдете... но потом придете... Но теперь все-таки вы уйдете? Да? Вы уйдете... Уходите, уходите...»

И, беря Полякова за талию, ведет его к дверям. Я жму руку m-lle Христофсен и спрашиваю: «Мы, может, придем в другой день?»

«Я завтра уезжаю...» И она смотрит прямо, крепко жмет руку и не улыбается.

Мы сбегает по лестнице и не смотрим друг на друга. «Я совершенно подавлен», — прорывает вдруг Полякова, когда мы пересекаем бульвар. «Вчера я мог еще смеяться, но сегодня мне страшно. Он опять пьян как стелька. И она не могла удержать его? Вот я тебе говорил, что он любит ее. Тут ведь драма совершается...»

История — память человечества.

9 Rue Campagne Première.

Жить в новой комнате — это немного переменить себя. Я с радостью ощущаю простор и высоту. Проснувшись, я вижу облака, которые сквозь стёкла текут над моей головой. Сквозь стеклянную стену — мокрые глыбы растрепанных деревьев и громады домов — не рядами, а как-то разбросаннее в беспорядке. И куда ни глянешь, всюду только стёкла мастерских.

Вечером они накаляются. Я вчера долго смотрел и старался проникнуть внутрь. В каждой на стенах, если занавеска откинута, видны гипсовые маски, мольберты, люди, склонившиеся под лампой.

На противоположной стене я видел тени людей из ателье, находящегося подо мной. Они быстро двигались, то увеличивались, то уменьшались, так что я мог представить себе, как они ходили по мастерской. Из другой мастерской сбоку, внутренность которой мне была видна, женщина подошла к

окну, приникла лицом к стеклу и долго смотрела в то ателье. Потом она позвала мужчину, и тот тоже смотрел. Верно, там происходило что-то. Мне было странно догадываться по отражениям на стене и выражению смотрящих туда лиц о том, что там происходит. Помните, как Платон сравнивает людей с рабами, с рождения прикованными к стене и которые только по теням на противоположной стене имеют понятие о мире? А тени падают от фигур людей, которые сзади их освещены огнями костров.

1903 г.

Май. Коктебель.

Для того, чтобы подвести итоги перед отъездом в Японию, постараюсь теперь, через год, досказать события прошлой весны и зиму, т. е. Бальмонта.

Я ярко помню те весенние майские дни 1902 г. в Париже. Я ждал письма от Мухи и переживал первое счастье красок. Потому ежедневно я ездил по Сене в Шарантон к Скаковским по поручению Качереца и рисовал в Венсенском лесу.

Помню одну грозу, которая застала меня на том конце леса на террасе над Марной. Я писал равнину за Марной, покрытую длинными вереницами тополей, поднимающимися одна из-за другой. И вдруг сразу потемнело. Смолкло. Запах цветов дошел до крика. Одним взмахом ветра из леса как вымело всю пеструю летнюю публику.

Я бежал эти несколько верст до Сен Мориса по совершенно пустынным аллеям. Кое-где, как сухие листья под ветром, уносились велосипедисты. Небо было черно, но ни одной капли дождя. Только когда я сидел уже у Скаковских, он хлынул потоками.

Я возвращался ночью трамваем. Ливень то затихал, то с новой силой низвергался на Венсенский лес. Между деревьями временами вспыхивало озеро. Около укрепления вагон

шел по воде. Потом пустые мокрые бульвары. Зеркальные тротуары. От Бастилии я пересел на линию Gare Montparnasse*.

Дома я застал Якимченку в ажитации.

«Миранда сдет послезавтра в Бретань. И предлагает мне денег схать с ним».

— Ну так поезжай. Конечно.

«Да ведь я не знаю, как с деньгами. Только я уже больше не могу сидеть здесь в городе. Я совсем нервным становлюсь».

Мы проговорили весь вечер об отъезде.

«Ты только возьми мои акварели из Салона, да вещи я уж поручаю тебе».

«Хорошо».

«Ты, кажется, ужасно рад, что я уезжаю».

Да, конечно. Невозможное нервное состояние. Меня теперь так загоняли. И Качерец своими поручениями, и уроки, и Косоротов, — что я прямо хотел бы куда-нибудь, в окрестности, что ли, на месяц сбежать.

Утром я пошел на квартиру к Ауэр, где еще оставалась Надежда Евгеньевна. Там я застал Маню Муромцеву. Мы вышли все вместе по Cours de la Reine мимо Grand Palais, блестящего экипажами и флагами. Случилось, что я попал в этот вечер к Муромцевым.

Я там не был уже несколько месяцев. Там был какой-то немецкий барон. Молодой человек с манерами военного в штатском.

Когда он ушел, Ольга сказала: «Вот те, которых не хочешь видеть, приходят, а Вы не были уже три месяца».

Мы условились, что я приду через день обедать, и вечером мы пойдем на фоары.

«Сегодня еду», — говорит Якимченко. Весь сияет. Мы вместе складывали пожитки.

Потом простились. Мне нужно было к Косоротову. Это была среда — мой день. Пред этим я несколько раз был у него, но не заставал.

Мы расцеловались с Якимченкой на прощанье. Он уезжал в 7 часов. Но я возвращался всегда поздно.

* Вокзал Монпарнас (фр.).

Вечный омнибус Odéon – Place Clichy. Я соскакиваю около N<otre> D<ame> de Lorette.

Серенькая Rue St. Georges.

«А, это ты? Как хорошо, что ты рано».

Косоротов без пиджака. Голубые подтяжки. Он весь сияющий, приподнятый.

«Что с тобой?»

«Ах, это целая история. Я так рад, что ты пришел. Я так счастлив, как только может быть счастлив человек, сделавший другого счастливым. Да вот погоди, я уж сначала...»

Он быстро переодевается. Ходит по спальне и в это время рассказывает.

«Вот, видишь ли, я несколько дней назад вечером встретил на улице женщину... молоденькую совсем, очень красивую, обтрепанную страшно... Ботинки стоптанные, дырявые, мокрые...

И привел к себе. Она так, блядушка. Она жалуется. Вот, говорит, башмаки и мозоли у меня. И маленький bébé у нее. Я, собственно, ей хотел дать 20 fr., но я только что получил аванс, и тут она, такая милая и несчастная. Я ей дал 30 fr. Она так и расцвела. Ах, говорит, как хорошо. Я теперь к redi-sigeu* пойду и для bébé то-то сделаю.

Потом, когда она уже уходила, я и говорю: «А вы знаете, куда я сейчас пойду?» – «Куда?» – «Я, говорю, сейчас пойду играть». – «Это, говорит, очень нехорошо».

– Я вот поставлю на ваше счастье эти сто франков и что выиграю сегодня, будет ваше, говорю.

Мы так и расстались. Я отправился играть. И думаю по дороге: вот выиграю сегодня двести франков и отдам ей половину. Уж очень она мне понравилась. Такая красивая, скорее на англичанку похожа, и в этих стоптанных ботинках.

И понимаешь, вышло как по-писаному. Через несколько ставок у меня 200 fr. Ну, думаю, мне везет. Надо продолжать. Но тут как застряло, никак не могу перейти через 200. То <1 сл. нрзб.>, то снова 200. И вдруг такая скверная мысль: жалко стало. Думаю – зачем ей отдавать 100, дам ей 50 fr.,

* Мозольный оператор (фр.).

и довольно. А тут стал проигрывать и всё спустил. Остался снова с тем, что начал. Так и ушел. А потом стыдно стало. Думаю: накажу себя и дам ей 100 fr. А на другой день все-таки снова пошел играть. И опять то же. До 200 дойдешь – и стоп. Я, как всякий игрок, немного фаталист, но тут прямо судьба. Но погоди, дальше.

Я уже решил, что я ей все 200 франков отдам. Но прямо не скажу. Написал ей, чтобы она пришла сегодня утром. И вот говорю ей, что, видишь ли, моя милая, я хочу сделать тебе маленький подарок. Ты мне говорила, что у тебя нет платья. Мы сейчас пойдем в магазин... Если б ты видел, как она расцвела».